

Василий Аксёнов

МАЛАЯ
ПРЕЧИСТАЯ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

РАССКАЗЫ

У ПИХТОВОГО ДОМИКА

Возле старенького, с лесу нетолстого пихтового, с маленькими оконцами мутного, зеленоватого, с разводами, стекла, чуть ли не наполовину вросшего в землю домика – завалинка в опалубке бревенчатой. На прогнившем желобнике крыши домика – мох. Как патина на бронзе или меди. Наличники не окрашены, потрескались. На них такая вот чудесность истолкована: в разные стороны утки-селезни плывут – друг от дружки расплываются. То ли утки те чем удивлены, то ли что-то проглотить никак не могут – рты у них раззявлены, и шибко. Под средним окном в пыли завалинки купаются курочки, и все рябы. Под правым – выдавленная, увоженная собачьей шерстью яма-канавка: лежанка Шарика. Под левым, совсем уж крохотным, как щель подглядная, окошечком, что у самых ворот, на завалинке расплюснута охапка соломы, а рядом с нею покоится квадрат фанеры – сорок на сорок сантиметров – такого примерно формата. На полянке, напротив соломенного гнезда, стоит пузатая лиственничная – листвяжная, по-местному – чурка. Низкая – как банная шайка, и без дужки. С чурки давным-давно мальчишки отколупали серу. Кора

огладилась – свиньи об чурку часто чешутся, – но не отвалилась. Рыжие муравьи живут под чуркой. И двухвостка. Ладно.

Из-за крутой, высокой кровли противоположного дома-крестовика выползает солнце. Лукавое. Упирается лучами в три небошьенькие – в те, что не просто так, конечно, были упомянуты, – оконца. Щупает.

За переплётот рамы появляется старик. Прищурился. Жуёт – борода ходуном ходит. Ногтём поскрёб стекло. Осмотрел после ноготь. Ноготь другим ногтём поскрёб. Отступил от окна – исчез в потёмках горенки.

Глухо охнула дверь вскоре. В ограде разговор. Непонятен. Отвалились внутрь ворота. О забор ударились больно.

Затихло. Никого: забор ветх, но пока ещё непрозрачен. Уже душно: куры рябы, задыхаясь, глотают воздух. И рты у них – как и у уток – приоткрыты. Про тех тут уток речь, что на наличниках.

– Долго я тут стоять-то ишшо должен? Сколь тебя, выстар, ждать? Сутки, ли чё ли?

Медленно, как летняя северная ночь через сумерки, переступает через подворотню дряхлый пёс. Вряд ли старее-то бывают. Два бельма, как две жемчужины, навывкате: чувствуют мир, но не зрят. Блеклые. Шерсть – как на прялке кудель – клочьями. На спине – пунцовые заплешины. Отшлифованы они, заплешины: смерть об них давно уж трётся – отполировала. Ну а что же.

– Тупай, тупай, слепшарый. Не стопори.

Говорящий не виден, говорящий – за столбом, столб – с проушинами: когда-то там, в проушинах, слега лежала и крепилась. Ну так.

Медлительно обошёл чурку пёс. Не обнюхивал, хоть и было что. Достиг края завалинки. Постановившая, поднял на неё передние лапы – как докладчик на трибуну. Замер – как перед речью. Молчит.

Плавно прикрыли ворота прогал в ограду: за кожаный шнурок притянул их старик. Часто переступая, словно трамбюя под собой взрыхлённую землю, отвернулся старик от ворот к солнцу. Погрозил солнцу старик кулачишком пятнистым. А что там.

– По репродуктору, порядку радив, справедливости, сравниваюсь. С каким днём, мотрю, всё пожже ты и пожже. Не шали мне – рассердишь.

Нога в сером, латаном валенке. Как в броне. Другая – на деревяшке с резиновой подмёткой. Территорию опечатывает. Метит. Печати круглые, глубокие – подделать трудно их. Ещё бы. Из прорехи штанов глядят зелёной фланели исподние. Облезлой шапки – век её возрасту – в стороны уши. Задом наперёд она на голове, шапчонка эта. Тесёмочки повисли. Болтаются. В глазах деда хитрость первородная – ну а что, бывает: вильнёт умом мужик, как пёс хвостом. Ясно.

– Час, час, не скули уж... как этот... как гамнюк. Я тебя терпел, теперя ты обожди. Не барин какой – от минуты не сдохнешь. А и сдох бы, дак и ладно.

До пса добрёл старик. Согнулся. Ухватил его за задние лапы. Приподнял на завалинку. Стоит Шарик – как лектор за трибуной. Молчит. О чём-то думает, так вряд ли. Обо всём уже передумал – наверное, теперь – без мыслей доживает.

Долго в лёжке устраивался пёс. То так, то эдак располагал лапы. Положил на них морду, отнял. Переустроился. Утих. На носу капли влаги. Бисером.

С бельма эмалевого в землю слеза крупная: потемнел кружок пыли.

– Опять тут сырость мне разводишь... тоже.

У соломы уже старик. Поправил ворох. Взбил, как перину. Готово – уселся. Расстегнул ватник. Пальцы дубовые – едва справились с пуговицами. Справились. Вылинял – белёс сплошь ватник. Как пепел. Из-под мышки плюшевую подушечку с медалями на ней и орденами вынул. Сверкнули. Уложил подушечку на фанере. Нравится, как лежит. Огляделся. Пощипал Георгиевский крест – пристало что, или так, поблазнилось. Сидит, довольный – а что: фронтовик-победитель – не шутки. Ещё раз, уже по-приятельски, погрозил солнцу: ишь ты, лобастое. Тому что – светит, поднимается. Перед стариком старается – а перед кем же.

– Я, Пшеничкин Игнат, и отроду яланский, шутя себе домишко этот выстроил-воздвиг, шутя коровёнку дойную купил, шутя её и продал за бесценнок, кто-то сожрал её за милу душу, ну дак чё там, раз говядо. Шутя бабу завёл, шутя и похоронил, и Царство ей Небёсное, а чё тут. Шутя с бабой детей немало народили, шутя гдей-то люди добры в глинку их, в песочек ли закопали – на то надёжа – под небом блекнуть не оставили... не стынут и не мокнут косточки их под дождем-под снегом-то – и ладно. Шутя вот и сижу. Шутя и в ус себе не дюю – привычки нет такой... дак чё уж.

Шороборятся курочки. Чужие – соседские. Радостно им тут – пусть вошкаются. От завалинки не убудет. А веселья всё больше: куд-куда, мол, куд-куда, есть у курицы... Курицам – куричье, а Игнату – Игнатово. Пусть себе. Спокон веку, ещёбыч. И курица – от Бога. Квохчет – молится – живёт-то.

– Сёдня, девки-курицы, праздник. Сёдня можно себе разрешить, дак и чё, – хлопнул ладонью старик по карману ватника. Зазвенело в кармане. – Сёдня как-никак, а Петров день. Пожертвую, засранки, маленькой. Да и как ею пожертвуешь, ежлив она уже есь, ежлив она уже куплена и в шифоньерке за дверкою томится-прячется. Прозрачная. И какая из себя приглядная, дак чё – чикушечка. И – с атикеткой – государственная. Деньгою – той жертвую – не шальная. Сёдня можно. Сёдня и сам Бог велел, не Бог, дак – Пётра, он, Пётра, скажет Богу: сёдня можно, мол, ну а Игнату – дак особливо... раз фронтовик-то... и крестьянин. Столбовой, к тому же, а не просто.

Из-за угла – ватагой плотной мальчишки. Шумные. Загорелые. Босоногие. Подступают смело. За майками – горох ворованный, ясно. Луцат. Как бурдуки. Карманы штанов брюхаты камнями и рогатками. Угроза воробьям, кошкам и стёклам.

– Здорово, дед Игнат, – приветствуют.

– Вам наше, варнаки, коли не дразните. На заработок пришли? Или так, куда проскоком?

– На заработок, – один за всех, бойкий.

– В прошлый раз я вам наперёд отдал – и дурак последний был, не знал, как бытто, с кем связался. Не спал после всю ночь, себя жалеючи, навывлет. Сёдня оплата, как оттрудитесь. Не хотите, не надо, других найду. Желаяшших – пруд пруди. Ялань большая, нанимай кого хошь, бабу каку кликни, дак любая согласится – не за чё-то там – за деньги.

– Ладно, давай, деда, после. А ты не надуешь?!

– Да как же можно! Не обучен я оманывать – не продавец. Всё по-честному. Вы по совести, и я по

стыду – ишшо с соплями-то не съеден. Без подлюстев, а иначе-то... и мир же рухнет.

Заскулил Шарик.

– Володька, пойдика, почеси ему за ухом. Болячка у него там, у гада. Не шибко тока. Больше ишшо не раскарёжь. От тебя ждать можно всякого, любую подлость.

– За так, ли чё ли? Даром, дед Игнат, чиряк, и тот, сам знашь, не сядет. – Нет у Володьки одного переднего зуба, под носом и на носу у него – весна-половодье.

– Вот, выродок, язви тебя... рыжий мерин... один такой, поди, на белом свете. Ладно, накину тебе пятак сверху... Одно слово – Чеславлев, больше ничё уж не дополнишь.

– За пятак сам пусть чешется, не инвалид войны...

– На кино хватит. Чуть добавишь – хватит и на паперёсы.

– В кино я и так пролезу, ещё пятак там стану тратить, а паперёсы – полон шкап у папки.

– Ну и не чеши, плакать будто будем. И, вправду что, сам прочешется... Вишь, и ногу уж отвёл, ему б ведь чё, ему бы лишь как половчей тока прицелиться да замахнуться, – хитрит Игнат.

Подался Володька к Шарику.

– Начинайте! – скомандовал старик и привалился спиной к оконному наличнику. Зажмурился. – Приступайте, мать вашу в болоте между кочек!

Подняли мальчишки ногу его на чурку. Валенки с ноги сняли. Носок с неё стянули.

– В пим яво, носок-то, пожалуй, не суйте. Путь на ветру малёхонько пообызат... отопрел-то, – скрю-

чил пальцы на ноге старик. Ногти жёлтые. Потрескавшиеся. Как глина в зной – так же. – И ту тоже... культу забросьте, – повелел старик.

Рядом с ногой легла и деревяшка. Как пушка. Выстрелил дед. Засмеялся.

– Свины вон в лыве, – говорит, – дак не промахнулся, так прямо в задницу и залепил той, самой жирной. Она не ваша ли, Володька?

– Дед Игнат, тебе щепочкой?

– Пятку шшепочкой – конечно, а подошву – когтями, дак чё.

– А проволокой?

– Проволокой нельзя. Как можно ей – жалезная, – встрепенулся старик, открыл глаза. Ощупал ими руки мальчишек. Закрыл снова. – Поехали. Володька! Отстань, по-путнему прошу тебя, от кобеля... пятака не увидишь. А и её ишшо не дам, зарплату.

Засуетились мальчишки. По очереди скребут щепками пятку деду. Щекочут подошву ему пальцами.

– О-о-о-ой, ой, ой! Мать вашу в болоте! О-о-о-оах, хорошо, да как ещё хорошо-то, просто: ра-а-адось... А пошибче-ка пяточку, пошибче её, старую. Так, так её. О-о-о-о-о-о. Занозу-то не вгоните... Вот так, вот так исхоженную, об землю сплюснутую. Ой-е-ёй-ох, деньги зарабатывают. Ой-е-ё-ах, конфет-пряников накупят. В кино военное сбегают, ох-ой, труженики, шпиёнское поглядят, махорочкою вкусно обдымятся.

– Хватит, может, деда, а?

– Дак пашто это?! – приоткрыл – слезятся – глаза. – По гривенному ещё не заробили. Чё мамки скажут, грабит, дескать, Игнат Пшеничкин, подзаработать толком ребятишкам не даёт, мол...

– Прошлый раз мы и то меньше тебе чесали.

– Прошлый раз я вам деньги раньше выдал. И дурак был, говорил уже, признался. Неправильно было с моей это стороны. Не жалаете – дело ваше. Других сыщу, ведь тока свистни... мальцов безденежных – как воробьёв вон... О-о-о-о-ой, ой, ой, мило-любо... другой, жаль, нет, а то бы вовсе... Вовка! Шельмец. Не трожь награды – пятак не получишь. Свои заслужишь, с теми цацкайся. Своих-то, правда, вряд тебе когда видать, в тюрьме наградами не жалуют... О-о-а-а! По два гривенника уже, так считаю. Шибче, шибче. Ну и ребятишки, ну и старальщики. Не здря сосали титьки мамкины, толк из вас вышел. Ещё копейки по две. Ох, раз-зорите вы старика – на поминки гроша не оставите. Сёдня Петров день, та-а-ак. Через три дни у меня – «За боевые заслуги». За день до Ильи – орден Красной Звезды. Дождя не окажется, дак в это же время милости просим. Шашнадцатого числа – «За отвагу». Прошу пожаловать. О-о-ой, хорошо-как-замечательно. Денег на вас не напасёшься. Чё дальше – после, доживу ежлив, дак скажу... Там, глядишь, и Спас... Жаль, что царский-то когда, день точно не припомню... знаю, что осенью, а вот когда?..

– Хватит, дед Игнат. Руки уж пристали.

– Ну а ещё-то на копеечку, то вдрут где не достанет... А там и с Богом. В магазин. Чё в магазине этом тока нету... А иной раз из-за копеечки – нет её малой – и слатости какой не купишь – обидно.

– Всё-о-о, не можем больше, руки вон уж онемели.

– Да всё ли? Это на полкопеечки. Ну да будет, уж и вправду, приневоливать не стану, не мучи-

тель. И то потрудились. На славу. Обувайте. О-о-ох, жизнь – вроде и дар, а истое гомно, а деньги – те и во все семючки, не семючки, а скорлуха... С австрийцами, учил Суворов, не водитесь – ну их.

Обули деда. Достал дед из кармана монеты. Долго то с той, то с другой стороны каждую разглядывал. Расплатился. Вовке на ладонь – отдельно пятак. Присвистнул Вовка, кулак свой конопатый сжал. «Хапуга», – сказал ему дед. «Хм», – ответил Вовка.

Прочь взапуски они, мальчишки. Пятки у них мелькают – грязные. За углом скрылись.

Откинулся к стене старик. Тёплая. Задремал. Дремлет пёс. Разбрелись от завалинки куры. Щиплют траву. Шевелятся синие губы старика – во сне бормочет:

– Шутя две германские отбрыкал, вторую – дак особливо, шутя двенадцать рублёв пензии приносят на дом – как генералу, дак чё... Шутя маленькую купил, шутя уже и остограммился... Шутя Дуню похоронил... Дунину жакетку под голову подкладываю... мягкая, как Дунина душа... Из яё, из жакетки, Дуня мне подушечку для медалей выкроила... Ноги у Дуни в зелёных жилках, жилки с синими узелочками. Как на вышивке, дак чё. Пусь подушечку мне на грудь, как Рокоссовскому... Не увидела Дуня этой – к тридцатилетию... недавно отметил... красивая. Да и с ребятами коль встретишься, дак чё – не стыдно... ох, сынулечки – много вас было – как начну считать, дак и сбиваюсь... И Шарика рядом, пусь сторожит, хошь и засранец... Его бы, правда, постерёг кто, а то бельмо вороны выключают. Может, там оклемаётся... Кто знат?

Нашлось бы тут похоронить кому нас. Разве кто из суседей сжалится... Ох, соскучился. Ох, стосковался. – Борода мотается. – Ох, а устал-то... И чё Он дёржит, а не приборёт-то?..

И уж выезжает из ельника на гнедом коне в белой, длинной холщовой рубахе отец Игната. Верхом Пшеничкин Иван Елисеевич. Серпом усы. Борода наковальной. Уздечка в одной руке. Другой рукой коня по ушам лупит. За конём борона волочитя, зубьями стерню дерёт – новая борона, железная, в Исленьске за зерно приобретённая, ну так – во время нэпа.

– Э-эй, тятенька, опять ты, вижу, за своё, – качает головой Игнат укорительно. – Всё бы и диковал.

– Дикую, Игнаха, ой и дикую, мать честная. Забил до полусмерти баб обеих, теперь вот конишку почём здря лупцюю. И когда всё это только кончитя, не знаю. А ты-то как тут, парень, а?

А Игнат будто и не смотрит на отца. На солнце, прищурившись, глядит. И говорит как бы так – нехотя:

– А ты вот, тятенька, всё бы и спрашивал. И любопытный же. Ну, чё вот я тебе могу сказать? Ну, чё? – И теперь уж в глаза отцу Игнат глянул. И совестно ему за грубость свою сделалось. – Ну как, как, – отвечает, – да так вот – шутя. Сдохнуть никак вот тока не могу – ни шутя, ни сурьёзно. Да и чё, ежлив ты и там такой же, каким был здесь?..

– Эх, Игнаха-Игнаха, драть тебя некому, а мне – некогда. Я ведь всё как? Я ведь всё, парень, на ходу. На ходу родился, не родился, а выпал, да ладно, что на пожню, а не об пол, а то башкой бы повредил-ся... на ходу жил, на ходу и помер. Был ты у меня,

а какой – дурак или умный, ленивый али работающий – и того не помню.

Пляшет по стерне борона. Лупит коня Пшеничкин Иван Елисеевич рукой по морде. Танцует под ним конь. И через речку ать галопом. И через польцо после. И в гору. И конь уж большой такой – ельника выше. А Пшеничкин Иван Елисеевич оглядывается на сына и гогочет.

– Ну, дикой, ну, дикой, ну, заполошный, – качает головой Игнат Пшеничкин. – Как был сдрешным, сдрешным и остался, никакой чёрт с котлами и скородками яво не исправил. Дак чё уж.

Уходит на другую сторону солнце. Прощается со стариком. Пихтовый домик тень на завалинку кинул. Затрясло пса. Стонет. Разбудил Пшеничкина Игната.

– Чего, шелудивый? Вставай, хватит дрыхнуть. Простынем, чего доброго, кто лечить будет? Подымайся. Пойдём в избу.

Замигал бельмами. Поднялся кое-как пёс. Дрожит на ногах.

– Иди-иди. Думашь, что чё – что я к тебе, ли чё ли? Велика честь, барин, будет, ишь ты, удумал тоже. Давай, давай, сам управляйся.

Побрёл по завалинке – хвост по земле. Едва равновесие держит. Ткнулся носом в руку старику. Заплакал.

– Не реви тут, сволочь, без тебя тошно. До завтра-то уж кого. Ночь – не век, доживём – погреемся... ежлив солнце – то ещё нам не подпакастит, канешно.

Спустился старик. Отряхнул штаны. Взял с фанеры подушечку. Пересчитал награды: кто, мол,

знает, ушлый малый этот Вовка – и стибрит как, не уследишь. Засунул подушечку за пазуху. Застегнулся. Долго застёгивался. Устали пальцы. Не проснулись ли ещё? – а что, бывает. Обхватил пса поперёк туловища, снял с завалинки. Поставил на поляну.

– Ух уж и навозу-то в тебе – тонна. Грыжу через тебя заиметь – не хватало. Кормить надо меньше – сам тут дурак – разбаловал. А перед Богом бы не отвечать, совсем бы не давал тебе ни крошки – сдохни, дак чё, никто бы и не вспомнил. Супок этот ты сёдня не получишь... пожалуй. Сам съем, один – в пустом брюхе уместится. Завтре, может, и не понадобится, всё ведь оно так: вечер с ним щи хлебал, а утром киселём яво поминал, так, нет, ли чё ли? А, выстар, чё молчишь-то?.. Обиделся, ли чё ли? Да на обиженных-то, знашь...

Пошли: впереди – пёс, хозяин – сзади.

– Шевелись, шевелись, не путайся. Плетёшься, как жерёбий.

Ткнул ворота. Повалились. Ушиблись о забор крепко. И тому, забору, больно: содрогнулся.

– Долго тебя ждать? Сколь тут? Через подворотню-то уж сам, небось, переберёшься. В конец разленился. Отец – тот жив бы был, дак нянчиться, как я, с тобой не стал бы, порешил бы быстренько, и глазом не моргнул бы. Таскай его тут на руках. Ишь, в моду взял, свыкся. Вот завтре в избе оставлю, а то, надумаю за ночь, и в «Инвалидку» сдам тебя, гадёныша. Ну дак а чё – вконец извёл уж.

Перевалился пёс через подворотню. Исчез. Зашёл в ограду старик. Отвёл от забора ворота. Отпустил. Хлопнули. Отлетела от них доска.

– Нечистая. Из-за тебя всё, слепошарый, – высунул голову в прогал. – Завтре первым долгом доску приколотить, забуду, дак напомним.

Пропал из виду. Ушёл было. Вернулся. Просунул в щель руку. Затянул в ограду доску.

– Упрут ещё. Народец-то... льдину найдёт, дак ту домой уволокёт, а там, хрен с ней, пусть и растает – лишь бы кому другому не досталась. Ясно.

В ограде разговор. Непонятен.

В новую дыру видна высокая, густая трава. Не колышется. Давно там растёт: привыкла.

ПАСЕКА

Такое дело вот: сибирский знойный день. Тишину разыгрывает дуэт: гудящий, до белёсости раскалённый воздух и взвешенная в нём шелестящая пыль, вспугнутая изредка пробегающими по тракту грузовиками и легковушками, – спелись, что называется. Время от времени в какой-нибудь перегретой коровьей голове что-то случается – корова вытягивает туго шею, закатывает обезумевшие вдруг глаза и своим протяжным, бездумным, как кажется, рёвом сбивает дуэт с толку. И, словно расстроенные фисгармоники, нет-нет да и вступят чахлые бляения обмеченных репейником овец, слоняющихся по селу в поисках окурков, пачек из-под папирос, выброшенных кинобилетов – словом, что подвернётся – для жвачки. И уж вовсе фальшиво, с вредительской будто целью, в мелодию яланского летнего дня врываются протяжные гудки машин, с помощью которых взмокшие от жары и досады шофёры тщетно пытаются согнать с дороги стадо. Стадо невозмутимо, еле-еле пошевеливает грязными хвостами, отпугивая назойливых слепней и паутов. Над стадом крепкий аммиачный дух витает, висит – вернее. Тот или иной водитель высовывается

по пояс из кабины, лихим словом поминает скот, его хозяев, хозяйскую душу и саму деревню, как конкретно, то есть Ялань, так и вообще. Кажется, это последняя капля в терпение музыкантов, после которой явный бунт: воздух перекаляется, а взвешенная в нём пыль бездвижно замирает – и теперь любой звук в них глохнет. Видно, поэтому молчат собаки умные. Распластавшись на засолненных завалинках, под телегами, за поленницами, высунув языки и пуская слюни, они дышат, как финишировавшие бегуны, безучастно поглядывая при этом на самозабвенно клохчущих куриц. Кто-то где-то говорит, кричит ли даже, но эхо в зной не работает, и слышится всё едва-едва. В иную минуту думается, будто Ялань вымерла. Но ничего, слава Богу, подобного. Яланцы – в самые пекущие часы $\frac{3}{4}$ либо дремлют в прохладных сенцах, либо пьют без усталости простоквашу, по-ялански «простокишу», и хлебают крошку, доставленную ими же из погребков.

Только во дворе пчеловодов Треклятовых, не смотря на пекло лютое, суета, только там людское оживление. Сам хозяин, Прокопий, сидит на пыльном крыльце, курит трубку и пускает в белёсое небо вялый, ленивый дым. Суетятся его жена Аграфена и дети.

Аграфена, перебирая на возу манатки и провизию, вслух вспоминает:

– Крупу... взяли. Хлеба... взяли. Капканы... взяли. Соль... соль... а где?... а, да, взяла. В бидон запрятала, уж и забыла... Прокопий! Тебя к крыльцу-то воском, чё ли, прилепили! Патронташ не забудь. Сразу вон на телегу положи его, к ружью, лежи он тут. А то так и уедешь... Тама-ка где-то он, в кладовке, на гвозде...

И, зверь где еслив, трубкой пукать – пугать его будешь. Не приведи Господь. Да подымись ты, трутень окаянный!.. Крупу... взяли. Хлеба... взяли...

Два мальчугана, погодки – свидетельства Аграфениной верности супружеской, – такие же рыжие и носатые, как Прокопий, запрягают лошадь. Лошадь спит. Прокопий, посмеиваясь через трубку, наблюдает за сыновьями и поддразнивает старшего:

– Вовка, а ты пошто её боишься-то?! Ей, баушке, сено жевать нечем, не то что твои уши, на твои уши зубы-то нужны какие – жалезные. Спалкал бы вон лучше, патронташ мне вынес – один хрен запрягать не умеешь – как стрижа в кулёмку путашь.

– Ну дак как же! Тебе мамка велела, ты и иди, нечего на другого перекаладывать. А запрягать тебя ещё научу, – огрызается Вовка. И язык высунул, хомут стягивая.

Прокопий фыркает довольно.

– Под носом вон ещё – лягушек хошь плоды, учитель хренов.

Аграфена, убедившись в наличии всего необходимого, накрывает воз брезентом и, увязывая его старыми вожжами, голосит, будто заблудилась:

– Катька! Надька! Нинка! Девки, где вы, а?! Идите-ка сюды!

Из дома друг за дружкой выходят три девочки и, прищурившись на солнце, становятся за спиной отца. Мать, не оборачиваясь и не отвлекаясь от того, чем занята, говорит им:

– Морковь продёргайте, барыни, горох прополите и картошку с воскресенья тяпать начинайте. Пора уж. Перерастёт. Да свиней, смотрите, в гряды не запустите, а то устроят тут... всё перепашут!

Потом, время выберете, и дустом в куте посыпьте, следите только, чтобы Манька с Юркой заместо сахару им не объелись, как вон у Лебедевых... ихний-то мальчишка, Царство Небесное рябёнку.

– Во, пулемёт-зенитка, ну, зараза, оглушила, – вставляет Прокопий, выбивая о плаху крыльца свою трубку.

Аграфена пропускает это мимо ушей.

– Телёнка – пусть не на улицу, но на пригон хошь выпускайте. В стайке-то всё, дак уморится и подохнет.

– А-а-адно, – нараспев обещают девочки.

– Чего же ещё-то? – напрягает Аграфена память, вытирая платком пот с лица. – Голова, как кумпол прямо... А!.. Петьку по ночам будить не ленитесь, пусть хошь и так – дежурство хошь назначьте... То матрасишко весь сгноит, паршивец. И раздевайте, спать-то как ему... Ну, а ты так до ночи и будешь сидья тут сидеть?! Отдирай свою задницу, ехать надо, – обращается она к мужу.

– Жар-то, может, переждём, а, баба? – говорит Прокопий, поворачивается и подмигивает дочкам.

– А ты бы всё пережидал, век бы и сосал свою соску, – говорит Аграфена и добавляет: – Не восковой – не расплавишься.

Прокопий, кряхтя нарочно громко, поднимается, отрясает со штанов сзади пыль и исчезает в сених, через некоторое время выходит оттуда, спускается с крыльца и издали ещё бросает патронгаш на воз.

– Бросай, бросай, ненормальный... Может, когда-нибудь взорвутся. Ребятишек-то вот захлестнёт, – предупреждает Аграфена.

– Дура, – говорит Прокопий.

Проверив упряжь, он садится на телегу. Аграфена подстилает старый ватник и устраивается с другой стороны.

– Ружьё не согни, баба.

– Не загнётся твоё ружьё.

– Да кто и знат. Аграфена!

– Ну?

– Телегу-то как осадило. Вовка, глянь-ка, ось под матерью не треснула там?

– Ты не мели-ка чё попало, – одёргивает Аграфена мужа. – Я-то думала, чё путнее он.

– Ну, ночной рыбак, – возглашает Прокопий, – отвориай ворота!

Петька, от удовольствия зияя ртом беззубым, спешит исполнить отцовское приказание.

И вот Прокопий и Аграфена выезжают со двора. Два мальчика и три девочки стоят возле ворот и вяло машут родителям руками. Мать, увидев в окне прощающихся Маньку и Юрку, грозит им пальцем – на всякий случай. Отец оглядывается и строит двойняшкам рожу. Те, повизгивая, влипают лбами в стёкла. Вдруг, вспомнив что-то, Аграфена кричит старшим:

– В кино будете убегать – избу замыкайте! Бандюг-то мало ли теперь тут всяких шлятца! А лучше и не ходите! Дома играйте! Нечего маленьких одних оставлять – себя и избу ещё спалят, помилуй Господи! Витька объявится, передайте, как приеду, всыплю ему как следует за то, что смотался!

– Да не ори ты... Кобылу вон перепугала.

– Ничё с ней, с твоей кобылой, не случится, зайкой-то не станет.

– Да хрен и знат.

До леса едут по тракту. Горячий воздух сушит во рту. Обычно речистая и большая охотница до житейских фантазий и мечтаний, Аграфена безмолвствует. Неизвестно, сколько бы длилось молчание, возможно, что и до самой пасеки, если бы не одно обстоятельство. За только что кончившейся пустынной улицей, где даже в окно на шум проезжающей телеги никто не выглянул, недалеко от дороги на поседевшей от пыли полянке увидела Аграфена спящего мужика и с интересом принялась разглядывать его скомканный и скрученный на спине пиджак, одну в кирзовом сапоге, другую босую – ноги, руки, вывернутые так, будто плясал, плясал мужик да и упал, уснув прямо в пляске, и его бурые от глины штаны. Аграфена изучила тщательно объект и зафиксировала в памяти некоторые детали – на случай будущего рассказа. Не Прокопию – кое-кому. По дальности расстояния закончив осмотр, она сказала:

– Убайкался, горемыка, – сказала так и ткнула локтём в спину мужа.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА